

Сергей Рядченко

Гаревое поле (Опыт простодушия)

Из ненаписанного

Хладнокровие вратаря это terra, братцы, incognita.

Слабаками мы не бываем, а нагрузка на психику – sixteen tons.

Another day older and deeper in debt...*

Давай смотри в оба... и мяч отбей... шестнадцать тонн в нем...
а не робей... и пом-м-мни... парен-н-нь... что в ден-н-нь похорон-н-н-н-нъ... тебе мы сыграем «16 тонн»...

Мы горланим по вечерам под надрывный звон струн гитарных во дворах под звездами, при луне, на родном и понятном; а струн на грифах к '66-му уже по шесть, с семиструнками мы расстались, верховодят нами Битлы, про шахтера мы знать не знаем, зато кризис Карибский свеж:

Сидели в баре в поздний час,
и тут от шефа хрипит приказ:
«Летите, мальчики, на Восток!
Вперед, по машинам! Ваш путь далек».
Несется по небу мой «фантом»,
а в каждой бомбе шестнадцать тонн,
шестнадцать тонн – опасный груз.
И мы летим бомбить Союз»...

Мы горланим «Шестнадцать тонн» по дворам да по катакомбам... «Поиск», слеты на мысе «Е», Соловейчик с именем Симон,

* Строка из популярной в СССР после фестивального '57-го песни Эрни Форда, повествующей о тяжелой доле американского шахтера. «Стал на день старше, и долг растет...».

в ту эпоху вдохнувший душу, в поиск павших втянувший нас... ветераны-поводыри и пронзительные горнисты, сопроникнутость поколений в терпких сказах фронтовиков; комсомольцы под стать Корчагину, комсомолки – что дух спирает, идеалов блеск ослепительный, ароматы сладких надежд...

Кто в ту пору к нам не слетался, у костра до утра не сиживал в ярких отсветах, в треске с искрами, в звоне струн и во взрывах хохота под холодной моросью с неба, доставучей из темноты; кто по ярусам катакомб с нами в поиск не отправлялся при веревках да фонарях, да с ночевками под землю, где промозглость вползает в кости, а сгущенный мрак влипают в глаза и в мозг; тот, смотри, у того, смотри, в этом сказе о чем попало, без оглядок, как для своих, много шансов, смотри, запутаться, заплутать, заблудиться, сбиться, впасть в отчаянье и пропасть в этом сплавленном-переплавленном самородке пространства-времени...

В общежитии на Галушкина, что напротив ВДНХ, – а спиной туда, а к нам передом, два в металле плечом к плечу вероухинских исполина – молодец с кувалдой да дева с серпом воздетым, – на Галушкина номер семь, выше прочих под самой крышей на шестнадцатом этаже этот опус зачитан не был, этот опус написан не был, и уже никогда не будет ни одним из нас и никем... Изложился он в устной форме не за раз, не за два, частями, в задушевности взрослых дружб в марафонском застолье за полночь – сколько было там тех ночей! – и по гулкому коридору пир гурьбою перемещался из одних хлебосольств в другие... Это плотная круговерть с колоссальным удельным весом, как в наперстке одних протонов, перевесившем паровоз... Кто под гнетом того *макабра*^{**}, в хороводе том, в свистопляске, устоял, а не смят в лепешку, претерпел, но раздавлен не был и не выпотрошен до дна, хоть трещали кости и жилы вздулись, взял да выдержал, взял да выжил, уберегся, ноги унес, тот теперь и носитель правды – как изложит, тому и верь.

Что да как там на самом деле – ни перу под силу, ни в сказке...

^{**} *Макабр* (фр. *danse macabre*, итал. *danza macabra*) – пляска смерти; аллегорический сюжет Средневековья, представленный в живописи и литературе и олицетворявший бренность бытия, – Смерть (скелет с косой) ведет за собой пляшущих людишек (и стар и млад) из всех слоев общества.

Скукотища, возропчет добряк-знакомец, это ж тупо непроходимо! В такой чаще черт ногу сломит! Что за чтиво?!?!? Для ненормальных! Для свихнутых нафиг безумцев!!!.

Так и я ж о том же – вольному воля!..

И со мною мой брат Давид, мой соратник по тем беседам, тем учебам, тем передрягам, по виражной невыносимости обалденного бытия; уроженец он Кутаиси (где Медея, предав отца, помогла, влюбившись, Ясону золотое руно утырить), гений мест, виртуоз коллизий, сотворивший фильм «Леонардо», ныне брат Давид в Руиспири, в Алазанской славной долине, хлебопашец и виноградарь; он учитель ученикам, отец сыну, друг человечеству; у окна у него в доме при кровати стоит «Ямаха», на которой, между трудами, для себя и овчарки Шульца, для друзей и для мироздания он лабает импровизации, приникая к созвучьям сфер, а в подвале под тонну чачи – не шестнадцать, конечно, тонн, но на первое время хватит... И вердикт его доброхотам неизменен и прост в ходу:

– Говорят, дорогой, им читать не впору? Вах! Пускай и не морщат жопу!

Долгой жизни тебе, Дато!

Так о чем бишь? О хладнокровии.

Кто сподоблен в голу стоять, хоть убейся, хоть кол теши, тот уже, чего бы да как бы, а незряшно на свет явился... Это, братцы, недоказуемо, но зато весьма показуемо; в сетке мяч – или он отбит, или схвачен в полете намертво – вот летел как ядро из пушки, а теперь – бац-хлоп! – и в ладони влип – все у всех, гляди, на виду, хоть досадуй, хоть восторгайся, кривотолкам сюда нет ходу, только факты и счет голов...

Нам в тот день тут на поле всем по четырнадцать, по пятнадцать, кроме тренера, ясен день. Мы не знаем, сколько ему, с наших лет тех он взрослый дядя, может даже, что пожилой, сидены в шевелюре много, ну а если взглянуть отсюда, куда с вами

мы добрались, из другого тысячелетия, после стенки в Берлине на кирпичи и коллапса КолоСССРа – державы грозной, где с тобой нам выпало уродиться под звездой красной с серпом и молотом; после башен торговых центров-близнецов в родстве с Вавилонской, тех, что «Боинги» с камикадзе за штурвалами протаранили, – хоть далеко, за океаном, но зато в эфире прямом – громко гэпнулись, так, что вздрогнули все, кто видел, по всей планете, – коль отсюда туда взглянуть, то едва ли ему за тридцать...

Он такой красавец у нас, каких попросту не бывает. Круглый год с загорелым торсом и обычно он босиком, что по гари, скажу вам, фокус; седой гривой похож на льва, ну а стать у него Тарзана; ходит медленно, не спешит, ровно ноги переставляет, вроде как не видно, чтоб бегал, но зато всегда там, где надо, вроде как там всегда и был. Он был бэком, блистал в защите, он был чистильщик, был звездой; закатилась его звезда на излете пятидесятых, закатилась да прокатилась по ахиллову сухожилию, год потом он на костылях, и теперь вот невозмутимо он растит молодую смену. У кого тренируешься? У Шуги? Это круто, кто понимает. Нету в городе человека, кто б не знал, кто такой Александр Шуга. И к гадалке ходить не надо – был бы в сборной Союза давным-давно...

Повезло нам с ним. Мы гордимся. А ему? А малы, чтоб знать.

Он спокоен, наш Дмитрич, как бронетанк. В жизни голоса не повысит. Весь азарт у него внутри, а снаружи покой вальяжный. Обожаем. И уважаем.

Насмотрелись?

Айда назад!

Преуспели над нами в трудах прилежных на ту пору, нет спору, ангелы.

Получалось у них тогда – так, чтоб все у нас получалось.

Вот выходит, что им, крылатым, абсолютно по барабану: ты безбожник или адепт...

Мы в той юности нашей резвой в атеистах все записных. Мы спортсмены, мы футболисты, дискоболы, десятиборцы, пятиборцы, волейболисты, гандболисты, ядротолкатели, прыгуны, пловцы, альпинисты, спелеологи, досаафовцы, самбо, ясно, и, ясно, бокс, комсомольцы мы и артисты, книгочеи и хулиганы;

в школе ладимся с дисциплиной, а на улице все бойцы, тут в мерилах сорвиголовость; размежеваны мы по стаям, по таким, что почище волчьих, по кварталам, по «хуторам», без ножа выходить не стоит; мы с тринадцати пьем вино «Европейское» в гастрономе на разлив на углу проспектов, 18 копеек стакан, из бутылок – «Алиготе», «Ркацители», «Рислинг», «Портвейн», «Мадеру» и, конечно, «Біле міцне», что мы кличем «биомедином»; курим «Джебел» и «Lucky Strike», «Приму», «Salve», «Казбек» с «Памиром», что зовется «смерть альпиниста», «Беломор» и «планчик» с оказией; мы живем в постоянном рыске наших помыслов о девчонках, в вечном поиске быстрых ласк; этих помыслов пруд пруди, через край их как в половодье, хоть терпи – а все ж невтерпеж; в этом возрасте, не секрет, что в игру вступают гормоны, не секрет, но зато секреты, да, секреты, эти самые, по нутру, напирают и распирают так, что застыт картину мира, сводят всю ее к одному – надо вставить любой уступчивой поскорей своего повстанца, поскорее да позадорней, а потом трава не расти, пусть дурнушка, пускай толстушка, что с того, что дура набитая! – лишь бы только взяла дала... и спасибо тебе, что встретила...

Мы живем в постоянном рыске воплощения зовов плоти с оголтелостью атеизма, но при этой всей чехарде мы еще пока не солдаты... Там потом, где пули свистят, там уже не сыскать безбожных днем с огнем или как ты хочешь! – там таких шаром покати... И при этом все ж пуля дура, ну а кто у нас не дурак? Ну а штык? Хоть он молодец? Вроде да. Как вошел, так вышел... Мойры* дело свое прядильное знают туго. Роптать впустую...

И вообще, друзья, и вообще...

Вот сдается, что время есть, потому погоняем мячик.

Тут начало шестидесятых, нет, пожалуй, что середина. Июль месяц. Жара под сорок. Три пополудни. Тренировка. Началась она ровно в два. Тренируемся мы в Отраде. Тут два поля, и мы на Гаревом, травяное для мастеров.

Эту базу придумал Дмитрич, когда выбросил костыли.

* Мойры – богини судьбы у древних греков. Три сестрицы: Клото, Лахесис и Атропа, она же Айса. Первая сучит нить жизни, вторая следит за качеством, а Айса обрывает, когда приспичит.

Тут под лестницей на Отраду протянулось тогда болотце, обиталище гадов с гнусом; слева спуск Лейтенантский, кривой, булыжный над откосом, а под откосом сюда вправо аж до Кирпичного, под «Динамо» и киностудией, под обрывом над морем шумел камыш, и шумел на ветру, и гнулся, в нем кишмя кишело рептилий, и галдеж лягушачий стоял всю ночь, от заката и до рассвета, и паслись по утрам в тумане пятиборные кони-лошади.

Мы сюда прибегали взрывать патроны образца девятьсот восьмого от винтовок системы Мосина, что в народе как трехлинейка; находили обоймами по пять штук в разбомбленке на Пролетарском на углу с Пироговской, там было много, в тех развалинах, в тех подвалах, до войны, говорят, был склад; в камышах на кочке мы жгли костер и бросали туда обоймы, отбегали и залегали, дожидались, головы – в плечи, и потом пальба поднималась, и над нами свистели пули установленного калибра, примиряя нас с этой жизнью и с героизмом наших отцов...

А потом на месте руины возвели писательский дом, и патроны у нас закончились...

Эту базу придумал Дмитрич, и над ним сперва потешались – размечтался, Шурик, утопия! – а поверил ему Галинский, да, тот самый Борис Галинский, старший тренер, начальник команды, двадцать лет на военном флоте, с до войны до после войны, кавторангом в отставку вышел, футболист, журналист, писатель, тоже, значит, мечтать умел, и, надев свои ордена, пришагал прямиком в обком и бесстрашием, и умом, убедил партийных товарищей, и возникла стройка народная – как, мы знаем, оно бывает, если партия скажет «надо!», или даже попроще – «ладно!»; на бульдозерах с самосвалами, споро, весело, миром всем разогнали скепсис и дрему, распугали кикимор с гадами, и теперь тут у нас в Отраде два футбольных поля над морем. Солнце, воздух тут и вода – наши лучшие, блин, друзья...

К ним в придачу кожаный мяч...

Эту базу придумал он, Александр Шуга, чудо-тренер, звонкий солнечный человек с шевелюрой, как грива царя зверей. А вот кто удумал насыпать шлак от литейного производства, – просто,

дешево и сердито, – то умалчивает история – работенка для любителей в светлом будущем. А у тех у нас нет вопросов, нам хоть щепень тут сыпь, хоть стекла, все равно же будем играть...

Этот жаркий июльский день навсегда зачем-то запомнится. Почему? А Бог его знает. Ведь не только из-за грозы. Что-то треснуло там, прохрустнуло, продралось прорехой во времени, в перепуганности времен, беспричинно, неосмысляемо. Ох, чудны же дела Твои. Ох, чудны пути Твои, Господи! Ведь обычная тренировка, ничего, чтоб из ряда вон...

Что сказать могу стопудово про ту жизнь с тобой, братец, нашу у истоков наших путей, расшвырявших нас по планете, про тот вихрь страстей и амбиций, про клубок скороспелых мнений, страхов, рисков, умалишенств, дружб, предательств, надежд, отчаяний, про влюбленность в кожаный мяч... Нам войны всем не доставало. Скажешь нет? Ну тогда кивни. И не той войны, что вот-вот по нам жажнет всмятку и ваших нету... Нет, не этой, а той, отцовской, на которую не успели, но патроны ж с гранатами от нее тут в земле, копни и геройствуй...

Кто же были наши отцы? Все воевавшие, вот кем были. И не в какой-нибудь, что потом кто-то из них принимал участие, но сейчас не об этом, – а в Великой Отечественной, вот в чем все дело, во Второй Мировой, мать вашу, – вот через что прошли...

Ты, что бродишь по склонам тут над футбольным полем над морем, воротившись из всех походов, уцелевший в них волей выше или просто по недосмотру, ты зачем сюда? Разве звали? Нет; не ждали и не гадали; не зовут, не ждут, не горюют...

Ветром выветрен, солнцем выжжен, смыт волной, земляк...

Позабыт.

Да и сам ты много ль упомнишь в навсегда минувших деньках? Что ты рыщешь? Каких сокровищ уповаешь тут откопать?

You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt.
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go...
I owe my soul to the company store.

А на той стороне залива над Лузановкой, над Крыжановкой, над Григорьевкой, где десантом в сорок первом прославились черноморцы, там гроза с утра собирается. И от севера до востока там все небо в сплошных чернилах, темно-синих и фиолетовых, и сверкают зигзаги молний, и ворчанием вперевалку гром докатывает сюда, и все громче он, все сердитей. И гроза уже над заливом, приближается к Ланжерону, надвигается на Отраду, на Аркадию, на Фонтан. Надвигается, придвигается, да никак пока не надвинется. И жара тут на солнцепеке проникается духотой. Давит так, что звенит в ушах, и вползает свинец в движения. А когда-то он тут летал...

Дальнобойная пушка «Дора» в сорок первом через залив с того берега сюда жажала; вот тогда оно тут гремело – у нее снаряды как бомбы. Дядя Жора мне говорил, что сюда угодило дважды, под обрыв на нашу Отраду. Мимо денег, он говорил, перепили, знай, шнапсу фрицы. Так что знай-понимай, племяш, что гадюшник этот не просто, не на ровном, значит, месте... На привете от той войны... Вот на чем он – на двух воронках, те тут были как котлованы... дождик лил, напознала глина... поросло быльем-камышом...

А теперь оттуда гроза, где когда-то лупила «Дора», – отстрелялась, а гром гремит.

Тайм сыграть, пожалуй, успеем...

Отработали уже час, взмокли, в шлаке уже измазались, исцарапались, исскрипелись. Разделяя и властвуя, Дмитрич нас разбивает на две команды, наших дружных друзей с друзьями, и теперь нам играть в футбол все два тайма друг против друга. Чтобы видеть, кто за кого, можно было бы полевым снять футболки в одной команде, но нельзя так, поскольку гарька, тут не надо голым по пояс; посему подбросим монетку, – орел? решка? – и невезучим выдаются поверх футболок майки красные, всем на вырост, ну, теперь они не замерзнут...

Так вот, красные против белых. Не стихает тема никак...

Вратарей тут Лёпа с Валёпой. Лёпа – это от Леопарда, а вообще он, конечно, Кела, не Акела, не промахнется. А Валёпа просто

Валёпа, не Валера даже, а Гарик – это поле, где мы играем, явно названо в его честь. Эти двое, Лёпа с Валёпой, оба первые, оба-два; в настоящих матчах без разницы, кто в голу у нас, оба лучшие. Они вместе с первого класса, с интерната на Ботанической – половина из нас оттуда, – и похожи как близнецы; кореша они, гренадеры, выше всех остальных на голову, от поклонниц отбоя нет, яркоглазы, отважны, резки, опасны и в суждениях, и в поступках, оба скоро уйдут на бокс, – ну и мы туда же за ними – а потом и в десант на пару, – и туда ж кое-кто из нас, – а потом шестьдесят восьмой, август месяц, кельдым-бельдым... И один из них не вернется из красавицы Злата-Праги; ну вернется, но только в цинке...

А пока сыграем в футбол.

Свистнул Дмитрич в свисток привычно, и пошел колобок разгуливать.

Нас сегодня не двадцать два, а игра идет семь на восемь, это в поле, плюс оба-два, получается, что семнадцать – все, кто вышел на тренировку. Перемешаны в этот день мы тут первые со вторыми – это юноши «Черноморца» – вместе, значит, чтоб кворум был; потому что лето, каникулы, поразъехались многие жечь костры вечерами под южным небом в алых галстуках в лагерях, пробуждаться под зов горниста, шагать строем и песни петь. Мы ребята с нижних ступенек, а потом уже juniors, а потом уже мастера. Вот такая тут иерархия. В мастера из нас выйдут трое: Толстый Ромчик, Пеца Почтенных и, само собой, Бараневич – прозывали всегда Бароном – почему не Бараном? – а потому... Пецу с Толстым возьмут в «Динамо», не в Москву, а в мать городов*, оба Маслову приглянулись, с Лобаном в чемпионы выйдут, в многократные, – как иначе? – а Барончика под знамена призовет к себе ЦСКА, из Москвы уже не вернется; кучу матчей отшпилит в сборной и мячей за нее закатиет штук двенадцать, да сами знаете; он прославится, ну и правильно, он же Слава, ему флаг в руки, и мяч в ноги – ему пасуй...

* *Мать городов русских* – прозвание града Киева в древнерусских летописях.

«В лето 6390... сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским».

Толстый Ромчик с мячом несется, паснуть некому, набегаёт, смотрю в оба, с ним шутки плохи, смотри, Лёпа, не подкачай.

Море справа, лестница слева, за спиной у Лёпы ворота, а за сеткой ворот сетка-рабица на втемяшенных швеллерах; жахнешь выше – перелезай, шукай мяч по траве высокой. Лёпа с теми, кто всемером, против тех, кого в поле восемь. Это слабый намек на то, что он все же лучше Валёпы, раз в голу он за меньшинство. А с другой стороны подумать, так все, может, наоборот; эти семеро тех сильнее восьмерых, полагает Дмитрич, в этом ракурсе получается, что Валёпа получше Лёпы, он на страже у неумелых, чтобы шансы всем уравнивать. Это Лёпа себя так дразнит, чтобы жизнь не казалась медом, а на самом деле, конечно, и коню понятно, и Дмитричу, кто тут первый, а кто второй.

Вот сейчас как раз и покажем...

Море слева, а справа склон, за спиной у Валёпы север, прямо – юг, над обрывом запад, а над морем у нас в заливе, что ни делай, всегда восток; а еще за спиной Валёпы, – угадай! угадал? – ворота, куда мяч пропускать ни-ни; позади ворот высоченная, под пять метров, стенка из толстых досок – глухо ухают под мячом, – была недавно буро-зеленой, стала синей, сами же красили – удовольствия в жару то еще, ну ни дать ни взять *цзацзуань!*** – синева разит скипидаром, а за ней травяное поле, куда нас пускают по праздникам...

Лучших Дмитрич Лёпе отдал, слабаков подсунил Валёпе, хоть и восемь, а толку что? Но, однако ж, тут и кураж! Это значит, Валёпа лучший, что бывает недоказуемо, но сейчас как раз и докажем. И покажем, и всех накажем...

У Барона мяч, смотри в оба. С ним не знаешь, когда пробьёт. И вообще – всегда смотри в оба. Я Валёпа – вратарь сухой!..

** *Цзацзуань* – заметки о разном – оригинальнейший жанр китайской литературы. В миниатюрах под заголовком следует перечисление ему соответствий: ситуаций, действий и атрибутов. Их разнообразие придает «заметкам» ироничность в сочетании с житейской мудростью. Например: «Двойная неприятность»: раскапывать могилы в жару; получить палкой по чирею и т. д.

Но Барону пробить не дали. Дмитрич свистнул. Штрафной удар. Снова свистнул, опять штрафной – прямо в руки Валёпе с Лёпой... Как их тут теперь разберешь?..

Это классное ощущение на ладонях – тяжесть мяча; и покой мяча на ладонях, и дурман от лоскутной кожи, поколупанной, передрыпанной – твердобокий многотерпивец, он полынью нам отдает...

Из вратарской с ноги Толстуну на ход, все прикрыты, а он свободен; он любимец команды всей, бьет с обеих, с обеих пушечно, а с фамилией – он Худых – Толстый Ромчик в противоречии; добродушен по жизни и зверь в игре. Так потом в «Динамо» и бегали оба-два, Худых и Почтенных. Уморительно. Убедительно...

Море справа от вратаря. Толстый Ромчик-Худяк несется с мячом – у него пузырь как на привязи, – набегаёт вдоль боковой, но отдать ему снова некому, там по парам все, семь на семь, он свободен, но сильно с краю. Он в рывок от края к штрафной. Преимущество в игрока тут во всей своей очевидности. Остальные зато прикрыты – бальзам на душу вратарю. И под этим острым углом удивить Лёпу Ромке нечем. Хотя с Ромчиком не зевай! Так никто же и не зевает. Ну не зря ж в голу Леопард!..

Мяч у Ромчика дрессированный – катит споро и льнет к хозяину; и по правому краю оба проникают на край штрафной. Лёпа ждет, как хищник в засаде, неподвижно, сжатый в комок. Ну давай, Толстячок, поближе. Пни еще разочек на ход. Наконец-то! Пора на сцену. Выход в ноги – Лёпин конек. Все, пошел, работаем, Лёпа, в три прыжка и в получетвертый – завал влево, угол прикрыт, на колено-бедро-плечо, здравствуй, гарька, давно не виделись, руки сами знают, что делать, вот ладони легли на мяч, здравствуй, круглый, обняться б надо бы, а инерция с заворотом вперед тащит, гарька визжит, бух! и Ромчик влепил подъемом по мячу у Лёпы в руках, мяч сквозь руки взбодрил донельзя, нос так просто возликовал, из глаз искры, в глазах зигзаги, словно молнии, только красные, яркий мрак и позывы мата, дошлый привкус кровянки с гарью, всюду гарька, и сверху сыпется... Толстый Ром-

чик перелетает, улетает и улетел, за спиной у Лёпы со скрипом принимают его ворота... коlobка все ж Лёпа не удержал, рядом прыгает, вот он скачет, невысоко да недалеко, но отсюда не дотянуться, набегает куча-мала... отпустила инерция, мигом – на ноги! вот вскочил и поторопился, и споткнулся, и заспешил, чуть едва всех не насмешил, и не сделал простого шага, шага-двух, как надо бы, – нервы! – вместо этого прыгнул с места, изогнулся в прыжке, завис – фраерок, не вратарь ты, Лёпа, вот, как здрасьте, скажет Валёпа, не из чванства, для пользы дела, и прибавит, что красоваться не пристало стражу ворот, – тем не менее в том прыжке изогнулся и дотянулся, и на мяч – ладони в перчатках, на одиннадцатый и на час, приземлились, пузырь прижат, любо-дорого, в сердце песня; сразу на бок, спиной к атаке, мяч в объятиях – красота! – и другого счастья не надо. Вот бы видела его Белка!

Этот скорый экспресс от Валёпы к Лёпе, он пыхтящей кучей-малой – многоногово, локти в ход, междометия в междометья! – пролетел, пронесся над Лёпой, пару раз задел по касательной...

И как только, так Лёпа сразу, не разлеживаясь, с колен зашвырнул на ход Сяве шустрому, Сявик Хинкису, Хинкис Пеце, Пеца Сяве, Сявик Барону – красотища, в одно касание! – и экспресс несется обратно – попотеть Валёпе черед...

А у Лёпы в его вратарской и в штрафной (его же) пустеет...

Из ворот Худяк выползает и бормочет себе под нос дружелюбно и нецензурно; а потом, склонившись к колену, сообщает ему:

– Ух ты!

Признается ему:

– Красиво!

Ободрал он колено начисто. Он слюнявит гаревый палец и по ссадине пальцем водит.

– Ну даешь! – говорит он Лёпе. – Ну ты, Кела! Вот наблатыкался. Как мангуст. Далеко пойдешь. Может, даже дворником будешь.

Лёпа слезы из глаз размазал и из носа их тоже выдул. Хлопнул Ромчика по плечу, тот его, ну как? будем живы?

– Не задел тебя? Не задел?

И бежит Толстый Ромчик в поле догонять свое счастье; там – у Барона мяч, он навесил Бармалею на центр вратарской, но Валёпа перехватил, безупречно и лаконично, с головы снял, и мяч

в руках. Вот бы Белка его видала! А в воротах Бармаль с Бароном, с ними Хинкис и Пеца там же, ухватились за сетку, дышат, две секунды на передых, и плюются громко всухую, плюнуть нечем, слюна спеклась...

Солнце жарит. Июль в разгаре. И гроза из Лузановки в гости к нам; задержалась в прихожей, принаряжается...

А Валёпа, драные локти выставив – аж отсюда Лёпе видать! – прижимает надежно пузырь к груди – обожаемый миг голкипера: мяч объят и ворота целы. Так бы вот от греха подальше и держать в руках при себе эту кожаную планету, но довлеет иная догма под напором наших страстей – «гол даешь!», а не то же как же; не забьешь в чужие ворота – так тебе, как здрасьте, закатят...

И Валёпа, как дискбол, с удалым античным размахом зашвырнул Худяку на ход. Толстый Ромчик в рывок вдоль кромки, беспрепятственно – дежавю! И горланит Лёпа, аж в море слышно рыбакам, которых там нет:

– Да прикройте его уже наконец! Не давай ударить! Не дай навесить! Пеца! Гера! Труха, пошел!

И Вовец Труха Худяку в подкат, никого не жалея, Лёпой пристыженный, – молодцом, контакт, Вовец, – есть контакт! И Худяк воспаряет – вот день такой – над любимым Гаревым полем и к нему же прильнул со скрежетом, с визгом, скрипом и с «ё-ма-йо!».

– Он нарушил! Это пенальти! – орет Шела, а кто ж еще; Вица Шелест, смельчак с Канавы.

Дмитрич тут он как тут, он рядом, мячик скачет уже в штрафной.

– Играть, мальчики! Мяч в игре.

И Вовец руками-ногами, перебрав, как паук, по гарьке, дотянулся все же носком, пропихнул пузырь в руки Лёпе, вратарю вратарей...

Ну вот.

Остальные сюда напрасно.

– А не клячил бы ты пенальти, – говорит звонко Дмитрич Шеле, – так уже б размочил бы, Витя.

– Ну а вы бы не засчитали! – Шела смелый до безобразия, не поймешь с ним, когда он шутит. – Нет, ну вправду, в ноги ж! Не в мяч! Нет, ну правда ж, был же пенальти? Вы ж, Сандр-Дмитрич,

у них девятым. С вами в поле не семеро их, Сандр-Дмитрич, а семь на́ семь и на́ семь семь...

Вица Шелест, он битый малый, Дмитрич выгонит, в СКА уйдет всем назло, потом артучилище, минометчик в морской пехоте, и майором в восьмидесятах он погибнет под Кандагаром. Вот такое тут семь на восемь, восемь на́ семь и семь по семь.

Посмеялись, играем дальше...

Лёпа мяч с ноги за центр поля, но атака там сорвалась, и опять все сюда несутся. Толстый с Лёпой в его штрафной, не стал бегать – в глухом офсайде, он слюнявит себе колено.

– Смысл играть? – говорит Худяк. – Все равно гроза сейчас врещет.

Ну а Лёпа ему:

– А нам что? Это ж брызги для моряков.

Только врезала не гроза, врезал Борька Жучок от штрафного круга. Лёпа все-таки проморгал, думал, Шабliku Жук отдаст... Мяч аж ухнул, так Жук вложился. Лёпа прыгнул, полет нормальный, – ииийййя-а-а-эххх! – на убыли кульминации потрясающего прыжка Лёпа, вытянувшись в струну, зацепил все ж нижней ладонью по касательной по мячу, и тот, нехотя, по параболе, по занудной, по нехорошей, ткнувшись в стойку и прокрутившись, все ж отчалил на угловой. Вот, пора уже приземляться; из растянутого в струну, из мангуста-себе-летяги, Лёпа сжался в кошачий узел, приложился к скрипучей гарьке и втемяшил лобешник в стойку...

Вот, бодался теленок с дубом...

Тут на склоне бывает публика, но сегодня антианшлаг.

Гренадер лишь с псами нам в зрители. Эти тут в любую погоду. Два боксера и старый волк. И пускай словари, хоть тресни, не дают нам «ё» в гренадёре, а талдычат нам только «е», ничего уже не поделатъ, быть ему тут у нас с умляутом, гляньте сами же – гренадёр!..

Что ж такая тоска давит сердце вдруг? Что ж упущено – не воротишь?..

Грянул гром, и меня прошибло.

Так и знал я, что это я!

Так и думал, что этот дядька, этот мрачно-невозмутимый, по-видавший и недоломанный – это я тут спустя полвека. Ну а кто ж еще, больше некому, кто далече, а кто и вовсе; номеров телефонных в блокноте тьма, не хватает духу взять вычеркнуть, но звонить уже – только в рынду... Надо б все же взять водки литр, ручку «Паркер» и сделать дело – повычеркивать наконец; вдруг получится этим вечером, глянь, погодка располагает... А при чем тут «Паркер»? Ведь все давно в электронике на мобилке... Да, блокнот тоже живет в столе, да и «Паркер» там с ним же рядом... Да, не литр надо брать, а три... Раздвоение долгожителя между старым веком и новым... Сил – то вовсе, а то поболе; зато упрямство, скажу я вам, каким было, таким и есть, – безотказное в применении... Дотянул-таки, докарабкался за концовку тысячелетия, в двадцать первый гремющий век. Повезло? Ага. Что ага? Поносило с лихвой по свету, воротился на склоне лет побродить по любимым склонам над любимым Понтом Эвксинским, да по детству с юностью, по всему; вот вдыхаю простор с грозой...

Многоцветность воспоминаний перепутана, вкривь да вкось, вся в осколках да в черепках, и зигзаги далеких молний... Надо б склеить, коль духу хватит; вдруг получится смысл узреть... Изнутри всё, и всё снаружи, как у Тота, у Трисмегиста... А в друзьях только псы остались? Ну выгуливай, ну броди, ну терзайся – не растерзайся, неприкаянный, вспоминай, раз уж выпало, не отлынивай и не жмурься, а все терпи, натерпись уж за всех пропавших, пусть воздастся, не подведи, не вздыхай, а дыши поглубже...

Молодой, сдается, меня признал. Знать бы, кто он, все не скумекаю. С двумя псами брожу сюда, два боксера, при них я третьим; Черчилль с Винстоном, морды скорбные, глаз горит, да и я не слеп, глядим в оба втроем – в шесть глаз, кто что видит, тому зачтется...

Тот, кто бродит по склонам тут, себя ищет да не отыщет с двумя псами себе в подмогу, ну и те, кто тут мяч гоняют, – каким

боком мы все увязли в этом дне без конца с началом?.. Как постичь переплет узлов на изнанке ковра творенья?.. Чем, скажите, уразуметь тайный смысл витийных узоров?.. Где критерий конца с началом во вселенском потоке жизни?..

Подбирались к разгадкам тайн бытия в хриплых спорах за полночь всякий раз, как затеивалось застолье на шестнадцатом этаже общежития на Галушкина, то бишь проще сказать, каждый божий день, перетекший в ночь и сморив под утро... Говорилось до хрипоты, пилося вкусно, дымилось дымно... Сколько было цистерн для нас в том составе – до капли выпито; ай да мы!..

А поутру сквозь муки похмелья Ариадны нить ускользала... Ищи заново, пока жив...

В сбитых со счета хриплых попытках изложить в устной форме про тот денек в безотказном кочевье нашем от застолья к застолью по коридору на шестнадцатом этаже неумного общежития добрались наконец до случая, всем нам сделавшего тот день. Случай прост и невероятен. Вот чего всплыл в памяти наконец!..

Оба спутника гренадера, оба пса ворвались в игру. У боксеров клички вполне себе: рыжий – Черчилль, а светлый – Винстон. Их вожак, хозяин, седой волчара, нами прозванный Гренадером, приходит со склона взирать на нас объявился в мае, в последних числах. Драматическим баритоном с возрастной хрипотцой обращался он по-негромкому к псам обоим – вот и знали их имена...

Черчилль с Винстоном – Винстон с Черчиллем – оба-два внеслись беспардонно к нам на Гаревое, где мы, и в два счета мячом завладели – потрудившись, но тем не менее... Наши вмиг наладились в распасовку, дабы псам мяча не досталось, но собачки, видать, цирковые оба – Черчилль выпрыгнул как пружина, с нами в рост – глазам не поверишь! – изогнулся в зависе не хуже Лёпы и таки дотянулся до пузыря посреди роскошного паса вёрхом и, пихнув его мордой своей боксерской так, что брыли мотнулись по-генеральски, отдал пас – не поверите! – в лапы Винстону;

тот ждал его там, где как раз надо было ждать; ну и Винстон погнал мяч с бешеной скоростью, обводя любого, кто к нему рыпался, – кто имел смелость рыпнуться, так скажу, – ну а Черчилль, он, приземлившись, враз догнал своего поделника – два гепарда в рывке, ну ни дать ни взять! – и они, оба-два, пронеслись по полю, скрипя гарькой не хуже нас и пасуя друг другу в одно касание – так, что оторопь всех взяла! – и вкатили Валёпе гол... Опозорили ни про что...

Тихо стало. Пыхтим, безмолвствуем.

Рассмеялся один лишь Дмитрич – по-вальяжному, звонко, весело.

– Уважаемый! – речёт он. – Отзовите своих умельцев! Тут у нас серьезное дело. А они у вас циркачи!

У Гренадера улыбка в седых усах; головой качает и не торопится.

И пока он не торопился, то Валёпа пришел в себя, раздосадованный на все, на размоченные ворота, в которых Черчилль с Винстоном при мяче победоносно разглядывали голкипера. И что ж, голкипер выкинул фортель – сам не видел бы, не поверил. Стал Валёпа на четвереньки под стать обоим своим обидчикам, издал дикий клич боевой до неба и четвереньками к псам рванул – те и опомниться не успели – и укусил – не ослышались – укусил, – укусил за нос одного из псов... Уже не упомнить – Черчиля или Винстона... Таких манер даже псы не ждали – ни на Гаревом поле у нас, ни в Вестминстерском их дворце... И укушенный, взвившись, пустился в драп, оглашая округу визгливым лаем, вверх по склону прочь с наших глаз; а некушенный было за ним пустился, но Гренадер его воротил...

Так Валёпа восстановил свою честь и честь черноморцев.

И предание долго о том гуляло, как моряк укусил собаку, аж пока за давностью лет не стихло. Ну а – скажем, Винстон – укушенный объявился через неделю; с кем якшался, где пропадал – никому не сказал ни слова; весь в парше был, и глаз слезился. Говорили, утратил веру в человечество, бедный пес...

И тут «Дора» с той стороны все же жажнула вместе с громом... Прилетел и ухнул снаряд прямо в центр, как раз посередке между



Сереза Рязченко после тренировки

Лёпою и Валёпой, ухнул так, что подпрыгнул берег... так, что вздыбились враз и полдень, и все прежние, и грядущие...

Я еще видал такое разок под обстрелом «шмелей» залетных из-за гор с пакистанской базы... Тоже в кучу смешались там быть и небыль, желе с твердыней, уплотненность с разуплотненностью, с эфемерностью прежних дум... В том кошмаре с убойным громом ужас сам себя превзошел, сам себя растерзал на шмаття... а душа, отлетев, вернулась... а своя ль?.. поживем – увидим... раз контужен, какой тут спрос?..

Вот разверзлись хляби небесные и прохлынула связь событий. И набрушилось разом все... Что вверху, то и тут внизу... Что внутри, то и тут снаружи... Так сказал Гермес Трисмегист... И вопрос звучит все настырней, все назойливей, все тревожней, не дает покоя в походе по долинам да и по взгорьям* – вот же в душу твою дивизию! – и вопрос такой, на засыпку, в простоте своей с экивоком: этот хаос, что нас по жизни всех шибает неумоимо, он действительно там, где видим и откуда по нам молотит, или все же он слабый отсвет того хаоса, что внутри?..

Нате! Пауза на раздумья...

И при этом мой вам совет: не советуя обольщаться...

На этом обрывается наша публикация отрывка рассказа Сергея Рядченко. В скором времени «Гаревое поле» войдет целиком в готовящееся к выходу в свет «Избранное» автора.

* «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» – начальные слова «Партизанского гимна», популярного военного марша времен Гражданской войны.

На музыку неизвестного автора первый текст в 1915 году написал знаменитый Гиляровский, а потом слова многократно переделывались – для Дроздовского полка, для махновцев и т. д. – и наконец для дальневосточных партизан, в коем виде и достигли всех нас в школах и на срочной службе; да и по сей день достигают.